

ЛитGroup РАВНОДЕНСТВИЕ



**Я: ЖЕНСКИЙ РОД,
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ**
сборник рассказов

Гореликова

**Я: женский род, настоящее
время. Сборник рассказов**

«Издательские решения»

Гореликова

Я: женский род, настоящее время. Сборник рассказов /
Гореликова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-839795-0

Женщины... Кто они? Нежные, хрупкие создания, требующие защиты и сильного плеча, или же личности — сомневающиеся, ищущие, готовые к изменениям в попытке найти свой путь, познать и обрести себя? Вашему вниманию представлены рассказы авторов-женщин о женщинах. Шесть авторов, шесть рассказов, шесть судеб, в которых героини, изменяясь сами, меняют мир — ненасильственно и мудро. В сборник вошли рассказы Е. Григ, М. Еремеевой, Е. Кордова, А. Прудской, С. Садомской, Е. Яниной.

ISBN 978-5-44-839795-0

© Гореликова
© Издательские решения

Содержание

Марина Еремеева. Осколки	6
Евгения Кордова. Усекновение	24
1	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Я: женский род, настоящее время

Сборник рассказов

Редактор Гореликова

ISBN 978-5-4483-9795-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Марина Еремеева. Осколки

Герои и события вымышлены, совпадения случайны

Скотт имел привычку врубить на полную мощность усилитель и, к восторгу ученика, изо всех сил молотить по струнам, завывая «Борн ту би ва-а-а-айлд» и кивая в такт гладкой черепашной головой, поэтому Лиля, приходя на работу, первым делом стучала к нему в дверь и просила убавить звук. Потом уговаривала жлоба-хозяина сделать похолоднее. Наконец, бочком протискивалась в свою, размером с домик Дядюшки Тыквы, каморку и снимала с пианино поставленную на него вверх ногами тяжеленную скамейку. На скамейке она сидела вместе с учеником, потому что стул уже не помещался. Если умножить шестнадцать лет на четыре дня в неделю и вычесть праздники и каникулы, то Лиля проделала эту серию движений примерно две тысячи восемьсот раз, но кто считает.

Следующими, всегда вместе, являлись Джек и Мари. Джек был броваст, бородат и шумен, как Дед Мороз, виртуозно владел абсолютно всеми духовыми и дружил с хозяином с юности. Мари казалось овцой, но явно была в паре главной.

Потом бесшумной тенью проскальзывала Нуо (хорошая скрипачка, но такая странная!), и вежливо здоровался ударник Хуан, интеллигентный мальчик в очках.

И наконец всплывала, распространяя духи и улыбки, вокалистка Айрин. Лет шесть назад она потеряла мужа, но упорно ездила на «гастроли», люто ненавидимые хозяином из-за сбоев в расписании. Если бы она потеряла Мишу, думала Лиля, она бы уже никуда не ездила, а легла бы и тихо умерла. Но Айрин ездила, а потом носила Лиле записи, сделанные в каких-то гулких синагогах. Лиля с удовольствием рассказала бы ей о конкурсе Падеревского и Уигморском Холле, но Миша запретил хвастаться.

Жлоб-хозяин, с неправдоподобным именем Питер Петрофф, был старым евреем с корнями то ли в Богуславе то ли в Бориславе, в подтяжках и пахнущих рыбой брюках по шиколотку. В целях экономии он сам убирал помещение, вследствие чего унитаза всегда был в ржавых потеках, а инструменты пыльными. Он, впрочем, в свое время взял Лилию на работу без опыта и вот уже много лет позволял ей самой подбирать себе класс, за что она была ему благодарна. Своих учеников она называла китайчатами, хотя среди них были также японцы, вьетнамцы, корейцы, индийцы и даже чистокровные американцы, просто все они предпочитали классику и занимались как следует. Всех же остальных, желающих играть диснеевские песенки, Питер сплавлял Мари.

Дома она о работе не говорила: Миша страдал, что за шестнадцать лет в Майями выпустил только одного солиста, в то время, как в Саратове выпускал по солисту каждый год. Сизифов труд, отмахивался он, раньше, когда она еще пыталась расспрашивать. Базы нет, а без базы...

Однажды она не выдержала и задала ему второй в их совместной жизни провокационный вопрос: не жалеет ли он, что уехал. Нет, коротко ответил он, и она предпочла удовлетвориться этим ответом – но иногда задумывалась.

На четвертом курсе Лилин педагог, молодой и обаятельный Алексей Васильевич Кот, дал ей четвертую сонату Скрябина, а сам взял и переехал в Астрахань. Не мог дожидаться конца семестра, стонали осиротевшие студенты, но Лиля стонать не стала, а доверчиво понесла наполовину выученную сонату к новому педагогу, Ирине Константиновне Конкиной, томной красавице, о которой в курилке говорили, что она спит с завкафедрой, Грозным Гудвином. Ирина Константиновна слушала Лилину игру, опершись локтем на стол и прикрывая глаза узкой аристократической ладонью. Прислушав страницы три, она оторвала ладонь от глаз и слабо пома-

хала ею в воздухе. Лиля остановилась. «Скря-ябина, – сказала Ирина Константиновна, – надо было играть с де-етства, с прелю-юдий. Теперь уже по-оздно».

Возможно, на следующем уроке она все-таки дала бы какие-то рекомендации, но Лиля больше к ней не ходила. Учила, как умела и с ужасом ждала экзамена.

Но видимо, Бог – или по крайней мере, Грозный Гудвин – все видит, потому что он вызвал ее к себе и ворчливо сообщил, что она переведена к новому педагогу, Михаилу Андреевичу Блунштейну.

Блунштейн, не улыбочивый тип лет сорока, с треугольным лицом, в мятых штанах и какой-то бабьей кофте, Лиле не понравился. Слушал он, сцепив руки на животе и далеко вытянув тощие ноги в сомнительной чистоты носках и кедах. Она чувствовала себя не в своей тарелке, ляпала мимо клавиш и мечтала, чтоб он ее остановил – но он не останавливал. Дослушав до конца, он долго сидел молча, потирая пальцами лоб. Потом вздохнул и сказал:

– Ира быва права. Вы действительно не понимаете Скрябина.

Он забрал у нее ноты, сел за второй рояль и заиграл.

Лиля, конечно, много раз слышала эту сонату, и в концертах, и в записи – но здесь, на расстоянии вытянутой руки это было совершенно другое дело. Здесь – нагромождение дизюгов и пауз, сквозь которые она продиралась, проклиная Скрябина с его синестезией, и Кота, и свои крошечные ручки вдруг превратились в Анькин порывистый шепот: «Лилька, он такой... такой!»

«Да какой такой?» – нетерпеливо тормошила Лиля, но Анька только прижимала к груди кулачки, и глаза ее ликовали, точно так, как вырвавшаяся наконец на свободу тема, парящая над восторженными аккордами. Теперь Лиля поняла: он – *такой*.

Не то чтобы она его соблазнила. Но сорокадвухлетний мужик не может устоять перед влюбленной в него двадцатитрехлетней девчонкой – так она, во всяком случае, думала.

Ей нравилось убирать его единственную, но большую и светлую комнату, протирать щербатые клавиши старого Беккера, и зеленую лампу, и фотографии Рахманинова и Листа. Только книги, целую стену книг, пылесосить она не любила – хотя читать их, конечно, любила, каждую свободную минуту. Там были Маркес и Кундера и еще много всякого – Миша, должно быть, потратил состояние. Но в голове почему-то все время неприятно вертелось: «облигацию мне в музее дали». Даром только птички поют, говорила мама. Все шло слишком гладко, и это беспокоило.

На пятом курсе она бросила свою съемную халупу и переехала к нему.

– Только смотри, – предупредил он, – никому! Ни подружкам, ни родителям!

– Ну, родителям, – попыталась возразить она.

– Ни-ко-му, – повторил он и рассказал о Гомельском.

Гомельский был легендой. Он учился у Нейгауза. Он дружил с Гилельсом. Половина преподавательского состава, включая самого Мишу, были его учениками. Это его и погубило.

– П-понимаешь, – нервничая, Миша не только не выговаривал твердого «л», но еще и заикался, —п-понимаешь, он п-позорил их п-перед студентами. Вмешивался в уроки, менял п-программы. Его можно п-понять —П-пигмалион тоже не воспринимал Гаватею всерьез. И они п-подвожили под него п-первокурсницу.

Она понимала эту первокурсницу.

– Можно было п-просто п-подождать, – продолжал он, – но у них кончивось терпение. Они п-подвожили под него п-первокурсницу и «свучайно» застали их вместе. Был жуткий скандал. Ваш любимый Грозный Мерлин...

– Гудвин, – тихонько поправила она.

– Да, Гудвин – сдевал вид, что это его не касается. И его выгнали. То есть отправили на пенсию. Красиво, с цветами и речами. Но п-по сути выгнали.

Лиля испуганно молчала, а он добавил:

– Так что смотри – никому!

И она не сказала родителям, благо, те были в далеком Белгороде. Родители узнали за неделю до свадьбы и за пять месяцев до рождения внука.

Вечерами он занимался, а она лежала под роялем и слушала, закрыв глаза. Под роялем была совершенно особая акустика, и ей казалось, что Миша играет лично для нее. Иногда, впрочем, она валяла дурака: дожидалась, пока он остановится и щекотала его босую пятку. Он дрыгал ногой и кричал, Лилька, не отвлекай! Но она отвлекала, иногда надолго.

В один из таких вечеров она нагишом устроилась у него на плече и задала первый в их совместной жизни провокационный вопрос: почему ты выбрал меня? Мужчинам не следует задавать такие вопросы, никогда не знаешь, что услышишь в ответ. Он сонно погладил ее по плечу и пробормотал: ты такая беставанная. От удивления она приподнялась на локте, и он проснулся. То есть я не то хотел, начал оправдываться он. Ну почему же не то, сказала она прерывающимся голосом, очень даже то.

Она поспешно натянула рубашку. Он попытался ее обнять, но она сбросила его руку.

– Найди себе великую пианистку, – сказала она и отодвинулась к самому краю.

Он вздохнул и буркнул:

– У меня уже была великая пианистка.

Она не спала всю ночь, обдумывая полученную информацию, а утром встала, поджарила блинчики, погладила ему рубашку, поцеловала перед уходом – и больше никогда не задавала провокационных вопросов. Кроме того раза.

Расписались в июле, в уютном маленьком ЗАГСе на Пугачева. Мама приехала обиженная, что все узнает последней («Как раз ты узнала первой», сказала Лиля), хмуро сунула Лиле подрезное кремовое платье («Какая ты умная, мамочка», подлизалась Лиля), хмуро расписалась в загсовской книге. Папа, наоборот, подмигнул Мише и показал большой палец, за что мама сердито шлепнула его по руке. Миша, неожиданно импозантный в костюме, безмятежно улыбался.

Потом обедали в Речном, папа и официанты кричали «горько», мама все дулась. Потом мама лепила впрок котлеты, ворча, что еще неизвестно, как двадцать лет разницы («Девятнадцать», поправила Лиля) отразятся на ребенке, и что Лилина Анька выходила замуж (поздравить, мелькнуло в уме) в «Астории», а этот – жмот, да еще и еврей.

– Тише, – шикнула Лиля и выглянула в комнату, но Миша с папой мирно играли в шахматы.

Мама недолюбливала евреев, особенно их бывшую соседку по коммуналке. Ее сказки были интересней маминых, и косички она заплетала не больно. Лиля крутилась у нее в комнате, пока папа не сказал – сколько ей было, семь, восемь? – Лилик, не ходи так часто к бабе Эсе, мама расстраивается. Почему, удивилась Лиля. Потому что она не умеет сама сшить тебе снегурочкин костюм.

– Ну и что, что еврей, – сказала Лиля, – и никакой он не жмот, он интроверт.

– Ишь ты, – проворчала мама, – нахваталась словечек.

Некоторое время она молчала, потом завела опять:

– А где родители?

– Отца нет, с матерью не общается, – сказала Лиля, отодвигаясь как можно дальше от лука.

– Ну, это ни в какие ворота, – возмущенно начала мама, но тут заглянул взъерошенный папа и потребовал чаю. Мама схватила его за рукав перепачканной в фарше рукой и втянула в кухню.

– Ну что? – сказал он нетерпеливо.

- Как он тебе? – прошептала мама.
- Все время выигрывает, – сердито сказал папа и ушел.

Лиля рассмеялась.

- Ты не смейся, – сказала мама, – а пойди выясни в чем там дело.

Лиля и так знала, в чем там дело, по крайней мере частично. Виолетта Львовна Блунштейн, рассказали в курилке, раньше преподавала вокал, а сейчас на пенсии, в молодости, говорят, увлекалась баритонами.

- В смысле? – удивилась Лиля.
- В смысле, пригревала, подучивала и пристраивала в театр, а они потом ее бросали.

Троих пристроила или четверых.

Всего этого не стоило рассказывать правильной маме.

- Ну мам, – заныла Лиля, – как я могу вмешиваться, и где я буду ее искать?
- В справке, – твердо сказала мама, – и от нее мне позвони.

Утром они уезжали. Папа с Мишей долго трясли друг другу руки и о чем-то договаривались. Мама сухо клюнула зятя в щеку, потихоньку сунула Лиле сто рублей и уже из окна погрозила пальцем: не забудь!

- О чем это она? – спросил Миша.
- Да так.

Дверь открыла вылитая баба Эся, только рыжеволосая и с вызывающе малиновыми, в тон ногтям, губами. Не спросив ни слова, она потащила Лилю мимо шуб и велосипедов (коммуналка, удивилась Лиля), втолкнула в комнату стиля «советский ампи́р», точно как у бабы Эси, только с пианино вместо швейной машинки, усадила на продавленный диван и велела говорить все.

– Как Вы похожи на нашу соседку, – брякнула Лиля и ни с того ни с сего принялась рассказывать про косички и снегурочкин костюм.

Свекровь кивала умным обезьяньим личиком, а по окончании рассказа спросила:

- Дочка, а кто ты такая?

Лиля сообразила, что ее приняли за бывшую студентку и неуклюже начала: «Мы с Мишей...», но тут накатила тошнота, и она закрыла глаза – а когда открыла, свекровь скакала вокруг нее, как африканец вокруг тотема, высоко поднимая колени в черных лосинах, так, что Лилю снова затошнило. Наскакавшись и запыхавшись, свекровь остановилась и стала показывать в пространство (наверное, великой пианистке) маленькие аккуратные кукиши. Потом села рядом с Лилей и заплакала.

Потом звонили маме. Лиля опасалась, что всплывут баритоны, но обошлось. Потом ели принесенную Лилей от Стружкина ромовую бабку и пили чай из разномастных чашек. Лиля извинилась, что они не пригласили ее на свадьбу. Свекровь замахала руками: это мелочи, мелочи, она сама виновата, но Миша ее простит, обязательно простит, а пока Лиля будет держать ее в курсе и малыша покажет, правда? Лиля пообещала.

Аркаша, вопреки маминым опасениям, родился здоровеньким, и Миша совершенно рассиропился. Он часами гугукал с младенцем, совал всем его фотографии и вскакивал по ночам от каждого шороха, еще больше изматывая и так измотанную Лилю. Когда в феврале его пригласили сыграть в Уигморском холле, он было отказался: Аркашеньке всего четыре месяца, как он может его оставить?

- Ты можешь оставить его со мной, – насмешливо сказала Лиля.

Он все колебался.

- Подумай – Лондон, – уговаривала она. – Роял Холл, Ковент Гарден, красные автобусы.
- Нет-нет, – испуганно сказал Миша, – туда и назад. Не время.

Лиля с Аркашей прекрасно выспались, навестили бабушку.

– А что мы будем делать, когда он заговорит? – спросила Лиля, но свекровь была слишком занята выяснением, у кого есть носик, глазки и прочие части тела. Они даже успели прогуляться по набережной, что Миша строго запрещал, боясь холодного волжского ветра.

Миша примчался через день, полумертвый, на все расспросы отвечал, что помнит только абсолютно безвкусную овсянку и тюльпаны, но зал действительно уникальный, акустика как в горах, и в следующий раз он обязательно возьмет Лилю с собой, а пока вот ей программка. Ночью она все-таки тихонько поплакала, разглядывая белоснежный сводчатый зал, утопающий, как жемчужина, в алом бархате, и купол над сценой, с изображением обнаженного юноши в брызгах божественного света – но тут закричал Аркаша, и она поспешно унесла его в кухню, радуясь, что отец, для разнообразия, дрыхнет без задних ног и шепча в теплую макушку: «Фигушки, все вместе поедем».

Однако вскоре развалилась страна, и стало не до поездок. Зарплаты не платили, и они спасались родительскими дачными посылками. Раньше на даче росла, в основном, малина, которую Лиля собирала осторожно, стараясь не повредить мохнатых ягодок, и ела, подолгу держа каждую во рту. Теперь выращивались куда более практичные вещи.

Раз в неделю Лиля ездила на вокзал и забирала у знакомой проводницы самодельную холщовую сумку с картошкой, луком, морковью, а весной – огурцами, кабачками, зеленым луком, укропом. Лиля везла благоухающую укропом сумку в троллейбусе и все боялась, что отнимут. Однажды мама передала банку меда, Лиля сбегала в Крытый Рынок и обменяла ее на бидон молока.

В консерватории резали нагрузки, и профессора уезжали, кто куда мог. Ирина Константиновна бросила бесполезного авиационщика-мужа и уехала с Грозным Гудвином в Лондон, в Королевскую Академию. Завкафедрой назначили интеллигентнейшего Линке – это было все равно, что поставить голубя предводителем оголодавших львов. Начались увольнения; под грузом наущничества рассыпались в пыль многолетние дружбы.

Однажды Миша пришел чернее тучи: Линке вызвал его в себе и, как бы между делом, но отводя глаза, спросил, когда именно он начал встречаться с Лилей.

– Мог и не искать п-повод, – хмуро сказал Миша, – и так ясно.

Он разослал резюме, и из маленького колледжа в Майями ответили: «Приезжайте».

Когда вывозили книги и рояль, он ушел из дому. Вернулся поздно, Лиля извелась в ожидании. Глянул на пустые полки, на осиротевший ковер с четырьмя квадратными вмятинами. Усмехнулся, лег и отвернулся к стене. Она не решилась лечь рядом, всю ночь просидела в кресле, прижимала к себе теплое Аркашино тельце и думала: «Слава богу». Но много раз за последние шестнадцать лет ее мучало: правду ли Миша ответил на ее второй и последний провокационный вопрос?

Музыкальным образованием сына Миша занимался сам. Лиля не возражала: в семь лет Аркаша играл концерт Гайдна, у нее он все еще копался бы в тетради Анны Магдалены. Ту злополучную Скрябинскую сонату он сыграл в тринадцать, в колледж готовил концерт Листа. В ее время в Московскую консерваторию принимали за одно только присутствие в программе концерта Листа, а сейчас каждый второй с ним поступает, поразительно.

Она садилась с книжкой, но не читала, смотрела, как они занимаются: этот пассаж стоя поучить, а этот на стаккато. Аппликатуру поменять, Миша был мастером в подборе аппликатуры. Она вспоминала свой первый раз: он сидел молча, бессмысленно перебирая клавиши, минут пять, она уж решила, что он вообще забыл о ее присутствии. Но тут он сказал: «Попробуй так» и выдал аппликатуру, которой не было ни в одном издании, но которая идеально подходила именно к ее руке.

Иногда Миша с Аркашей устраивали тематические концерты. Приходили его и ее студенты, Айрин, Аркашины друзья, один раз даже забрел декан. Играли этюды-картины, Аркаша тридцать третий опус, Миша – тридцать девятый. Она подготовила слайды, березки и рябинки, храмы и колокола, на ужин многослойную кулебяку. Китч, конечно, но что не китч? Когда пытаешься вычленишь суть той или иной культуры, неизменно получается китч.

Декан жал руки, благосклонно кивал львиной головой, спросил, нельзя ли повторить для детей.

– Ну почему же нельзя, можно, – сказал Миша.

В следующее воскресенье декан привел двадцать восемь детей. Двадцать восемь нарядных мальчиков и девочек, весь сыновний класс, хорошо, что Лиля всегда готовила с запасом.

Народу приходило все больше, и Лилия купила раскладные стулья и несколько вечерних платьев, разобралась в винах и коньяках. Между Бетховенскими сонатами она читала Гете.

– Вот я – гляди! Я создаю людей, леплю их по своему подобию, чтобы они, как я, умели страдать, и плакать, и радоваться, наслаждаясь жизнью... *

– Я и не знал, что ты так хорошо читаешь, – удивился Миша.

Она и сама не знала. Ее благодарили, галантно целовали руки, она стеснялась, отмахивалась – но было приятно.

Когда Аркаша уехал в Кливленд, Лилия наконец выбралась к родителям.

Родители держались. У мамы болели ноги, но она упорно ездила на дачу, сажала, поливала, окучивала, хотя в этом больше не было особой необходимости.

Она пичкала Лилю день и ночь:

– Вот попробуй огурчик, – приговаривала она, – у вас нет таких огурчиков. Ешь, ешь варенье, у вас нет такого варенья.

Папа, вообще, глядел бодрячком, хвастался, что участвовал в городском марафоне, осилил половину дистанции, в следующем году хочет попробовать полную.

Все это Лилия, впрочем, знала – но квартира, как она могла забыть о квартире! В окна щели – кулак пролезет, входная дверь рассохлась и скосбочилась, колонка зажигается через два раза на третий – а батареи! Дopotопные чугунные батареи, да они, наверно, в пальто спят!

– Почему не сказали! – напустилась она на папу.

– Не сказали что? – удивился тот.

– Что нужно, – она огляделась, – все!

– Ну так, Лилик, – развел руками папа, – все так живут. То есть, все пенсионеры.

Проклинающая себя за глупость, Лилия бросилась составлять список. Окна. Дверь. Батареи, колонка – что еще?

– Что еще? – грозно допрашивала она.

– Да ничего, Лилик, – бормотал он, – все остальное в порядке.

– Нет, не в порядке, – вступила мама, – и не ври. Ванной уже сколько не пользуемся, в корыте купаемся.

– Замолчи! – цыкнул папа. – Эх!

Он махнул рукой и ушел на балкон.

– И балкон вот-вот рухнет, – добавила мама.

Два дня спустя на балконе варили новый каркас, в комнатах устанавливали биметаллические батареи и стеклопакеты, а в ванной новую сантехнику. Лилия, в джинсах и пыльных кроссовках, командовала, как заправский прораб, стараясь не думать о растущей на карточке сумме и отмахиваясь от папы, который ходил за ней по пятам и умолял оставить деньги, он сам все сделает.

– Не сделаешь, – говорила она, – на похороны отложишь.

– Ну так конечно, – бормотал он, – а кто нас будет хоронить?

– Я буду хоронить, – кричала она в ответ, – я! Когда время придет!

Привлеченные грохотом и пылью, в открытую дверь заглядывали соседи.

– Вот, – гордо говорила мама, – дочка приехала.

Папа от соседей прятался: ему было стыдно.

За десять дней все было сделано. Последней с Эталона привезли красавицу-дверь, и Лиля, взяв с отца обещание больше не врать и наскоро обняв располневшую, но все такую же восторженную Аньку, уехала в Саратов.

Она долго бродила по центру, собираясь с духом.

– Миша простит меня, – сказала свекровь шестнадцать – нет, восемнадцать лет назад, но Миша не простил. Это Лиля звонила ей как минимум два раза в месяц, а потом перехватывала телефонные счета. Лиля подбрасывала денег, посылала фотографии Аркаши в садике, Аркаши в школе, Аркаши с Мишей за роялем в новом доме, Мишиного колледжа и своей студии. Миша же вел себя так, будто у него нет матери, и Лиля так и не решилась поднять этот вопрос.

Теперь же она бродила по центру, собираясь с духом, надеясь, что свекровь выглядит не слишком плохо.

Проспект Кирова сделали пешеходным, старые немецкие дома отреставрировали, все выглядело на удивление презентабельным и совершенно незнакомым.

Лиля прошла от цирка до консерватории, наслаждаясь сухим, не майямским теплом, разглядывая вывески и шумную, хорошо одетую толпу, купила в киоске пломбир, сфотографировала две новые скульптуры: бронзового парня с заброшенным за плечо пиджаком и букетиком в руке и, кажется, того же парня, но с гармошкой. Бабуся в кокетливом нашейном платке посоветовала поддержать первого парня за букетик, и тогда выйдешь замуж.

– Потому что это холостой парень из песни.

Лиля рассмеялась, сказала, что уже замужем и пошла дальше. Долго искала и не нашла Стружкина, зато нашла магазин «Народные промыслы», где нахватала кучу ложек и платков на сувениры.

В консерватории заканчивались каникулы. Сонная вахтерша, видимо, приняла ее за слишком рьяного преподавателя и неопределенно махнула рукой. Лиля побродила по коридорам, заглянула в пустые классы, обнаружила два новых зала, красивых, но чужих.

Родным был старый; она погладила знакомый красный бархат и усмехнулась, вспомнив свой вступительный экзамен: она, как назло, переболела гриппом и играла плохо, дрожащими ватными пальцами, а потом на ватных же ногах спустилась со сцены и пошла через весь пустой зал к двери, глядя прямо перед собой, но вслушиваясь изо всех сил, потому что, если позовут и станут штудировать на знание музлитературы – прошла, а если не позовут – провалилась. А подлый Гудвин дал ей дойти до самой двери и взяться за ручку, и только тогда молча поманил толстым пальцем, о чем она и не узнала бы, если бы не косила одним глазом на непроницаемую приемную комиссию – так он развлекался, садист. Она не ответила толком ни на один вопрос, но это было неважно, ей сказали в коридоре, что это неважно, лишь бы позвали.

Из коридора донеслись гулкие голоса, Лиля очнулась и глянула на часы: пора, дальше тянуть некуда.

Свекровь выглядела, как выпавший из гнезда птенец. Лиля иногда находила таких, покрытых редким пухом, с затянутыми пленкой глазами, под высокой пальмой перед домом и, содрогаясь от жалости и отвращения, поддевала совком и уносила в мусорный бак.

– Сейчас будем пить чай! – объявила свекровь своим роскошным контральто, но заметно шепелявя, и медленно, натываясь на мебель, двинулась в сторону кухни.

– Я поставлю, – вскочила Лиля.

– Я сама! – упрямо сказала свекровь, и Лиля покорно села и осмотрелась.

В комнате было по-стариковски чисто, хотя мебель окончательно обветшала, и пахло чем-то кислым. На всех горизонтальных поверхностях стояли присланные ею фотографии. В старом «Саратове», раньше находившемся в кухне, обнаружили ряженку и протертый суп. Из-за холодильника со стуком выпала палка для слепых, Лиля поскорей сунула ее обратно.

Черт побери, и что ей, приехавшей на один день, делать с этой гордой старухой, с ее катарактой, плохо пригнанными зубами, а самое главное, полным одиночеством? Слава богу хоть не купила, как собиралась, ореховый торт.

– Люда когда приходила? – осторожно спросила она, избавив вернувшуюся свекровь от горячего чайника и следя, чтобы та не села мимо стула.

Люда была социальным работником, свекровь не могла ею нахвалиться.

– Я в полном порядке, деточка, – оборвала она, – а ты давай, говори все.

Это «говори все» окатило Лилю жгучей ностальгией.

– Ой, – сказала она, – Миша переживает, что Аркаша не попал к Бабаяну.

– Что ты говоришь! – свекровь расширила глаза, – и к кому же он попал?

– Да к одному там корейцу, – сказала Лиля, нарезая рулет, – тоже хороший, но Вы же знаете Мишу.

Собственно, свекровь не знала Мишу, и Лиля с досадой прикусила язык.

– Вот, – поспешно сказала она, доставая телефон, – последние фотки.

Свекровь поднесла телефон вплотную и стала разглядывать, закрывая поочередно то один, то другой глаз.

– Вырос, – сказала она грустно, и Лиля окончательно расстроилась.

– Виолетта Львовна, – не выдержала она, – я помирю Вас с Мишей. Обещаю.

– Хорошо бы, – сдержанно отозвалась свекровь и вернула ей телефон.

Пили чай. Лиля рассказала все смешные истории, какие могла вспомнить, и про перевернувшееся каноэ, и про двадцать восемь детей, и про закрывшийся посреди концерта занавес. Свекровь радостно хохотала, закрывая рот рукой.

Сидели долго, Лиля чуть не опоздала на поезд. Потом надо было со всеми бебехами перебираться с Павелецкого на Белорусский, а оттуда в Шереметьево. Только в самолете она вспомнила о своем опрометчивом обещании и покрылась холодным потом.

Тем не менее, она еще месяца три не могла решиться поднять эту тему, и в результате подняла случайно и совсем не так как собиралась, совсем, совсем не так.

Миша поссорился с Аркашей: тот, видите ли, посмел заявить, что Лэнг Лэнг лучше Кисина.

– Вэнг Вэнг вучше Кисина, нет, ты можешь себе такое п-представить? – возмутился Миша.

Он быстро нашел второй концерт Рахманинова. Знаменитый китаец, сверкая улыбкой и очками, долго жал руку дирижеру, потом долго настраивался, закрыв глаза («Пижжон», прошипел Миша) и, наконец, сделал вдохновенное лицо и извлек первый аккорд.

– Ты свышишь? – по мере нарастания звука Миша все сильнее морщился. – Это же... он же... у него же звук, как у п-пустой кастрюли!

Звук был, действительно, резковат. Он с отвращением выключил запись.

– Черт его занес к китайцу! И это только п-первый семестр!

– Корейцу, – поправила Лиля.

– Хрен редьки не сваше!

Он вскочил и забегал по комнате:

– Он мог п-поступить в Джулиард! Я отправил его в Кливвэнд к Бабаяну! П-почему он Трифонова взял, а его не взял?

«Значит, не настолько хорош», грустно подумала она.

– Я скажу ему! – продолжал он.

– Кому, Бабаяну?

– В том-то и дево, что я не знаю Бабаяна! Аркашке! Скажу, п-пусть любой ценой добивается п-перевода.

Она похолодела:

– Ты что, с ума сошел? А если тот не возьмет?

– Тогда нечего там сидеть!

Тут она и сделала эту ошибку, возможно оттого, что вот уже три месяца лицо свекрови стояло у нее перед глазами.

– Ты помешанный со своей русской фортепианной школой! – закричала она, вскочив. – Ты угробишь его, как угробил свою мать!

Он резко остановился:

– Что ты знаешь о моей матери?

Ей бы замолчать, но восемнадцать лет секретов неудержимо полились наружу.

– Я-то все знаю, – кричала она, – а вот ты что знаешь? Ты знаешь, что она почти ослепла и еле ходит?

– П-погоди, – сказал он растерянно, – откуда ты...

– Оттуда, – перебила она, испытывая мстительное наслаждение. – Я была у нее! И все годы посылала деньги и фотографии! Она тебя растила...

– Она не растива меня! – взревел он, и она испуганно замолчала. – Меня Гомевский растив! А она растива своих баритонов!

От ярости он вообще перестал выговаривать «л».

– Она трахавась с ними в двух метрах от моего дивана! А п-посведний п-п-пытався трахнуть меня! И я убежав к Гомевскому! Насовсем!

Лиля с самого начала слушала его в ужасе, но при этих словах бросилась, обхватила руками и зашептала: «Ну все, все, все, солнышко, все, извини, я не знала, ну все уже, все», но он вырвался и ушел, хлопнув дверью, и проходил где-то до полуночи.

Все время, пока его не было, она сидела, не зажигая света, в том же кресле, пытаясь совместить рассказанное со слепой старухой, которой она обещала посодействовать. Сколько ему было? Лиля вспомнила сказанное ей двадцать лет назад в курилке: «Говорят, в молодости она увлекалась баритонами» – наверно, и Мишин отец какой-нибудь провинциальный баритон. В молодости можно наделать глупостей, это точно. Она, Лиля, вроде не наделала – но ей просто повезло. А свекрови не повезло.

Свекровь, наверно, выгнала баритона в тот же день. Наверно, бегала к Гомельскому, умоляла Мишу вернуться. Бедный Миша, полвека прожить с таким грузом. Бедная свекровь.

Замок щелкнул, она вскочила и выбежала в прихожую.

– Пить хочу, – буркнул Миша, проходя мимо нее в кухню.

Она пошла за ним. Он вытащил из холодильника кувшин с компотом, налил в стакан.

– Будешь? – сказал он.

Она покачала головой. Он выпил залпом полстакана и сел.

– Ослепва? – спросил он, не глядя на Лилю.

– Да, Мишенька.

Он допил компот и поставил стакан в раковину.

– Вадно, – сказал он, – завтра позвоню.

Он пошел, было, из кухни, но в дверях задержался и буркнул:

– Спасибо.

Он действительно позвонил на следующий день – сначала Аркаше, а потом матери. Лилю поразило, что он знал номер наизусть, со всеми международными и городскими кодами, все пятнадцать цифр. Видимо, он набирал его за эти годы не раз и не два, но в последний момент сбрасывал звонок. Она ушла из комнаты, чтобы не мешать, но он говорил недолго, буквально несколько слов. Ну, дальше будет лучше, рассудила она.

Дальше стало не лучше, а хуже, и в совершенно неожиданном направлении: он вдруг потерял ко всему интерес. Лиля, занятая подготовкой к отчетному концерту, не сразу заметила – только когда сообразила, что вот уже несколько недель в доме полная тишина.

– Ты себя плохо чувствуешь? – спросила она.

Он снял наушники, оттуда доносился Моцарт – это тоже было странно, он редко слушал Моцарта.

– Что?

– Я говорю, ты заболел?

– Нет, почему?

– Не занимаешься. И не бегаешь, я только сейчас сообразила!

Он пожал плечами:

– Не хочется.

И снова надел наушники. В последующие недели ему «не захотелось» поехать в выходные на океан, повести ее в Mother's day в ресторан и пойти на ежегодно устраиваемое колледжем Memorial Day Barbeque. Лилия нервничала все больше, но молчала до тех пор, пока он не начал туманно намекать на приближающуюся пенсию.

– Какая пенсия? – удивилась она, – тебе шестьдесят два года!

– Ранняя.

Она перепугалась окончательно.

– Ты что-то от меня скрываешь? Ты болен?

– Я прекрасно себя чувствую, – терпеливо сказал он, – мне предвожили раннюю пенсию, и я согласился. Доработаю учебный год и все.

Она смотрела на него в ужасе:

– Ты с ума сошел, да? Нам еще пять лет дом выплачивать! И за Аркашу платить!

– На оплату дома хватит, – сказал он, – я посчитал. А Аркаша будет хорошо учиться и повучит стипендию.

– То есть, если не Бабаян, то тебе плевать! И как ты мог не посоветоваться?

Он ответил не сразу, некоторое время сидел молча, делая ртом какие-то рыбы движения, а потом сказал:

– Лилик, я больше не могу.

Он никогда не называл ее Лилик – Лилька, Бевоснежка, Принчипесса, в последние годы Хозяюшка, но никогда Лилик. Так ее называл папа. Впервые за все эти годы ей пришлось в голову, что папа всего на четыре года старше Миши. И вот уже шесть лет на пенсии.

Как раз с матерью он теперь говорил часто и охотно, а Лилия злилась: надо же, какая внезапная любовь – и что он там обещает, они так же поедут к ней, как поехали в Лондон. И главное, она все это организовала – и она же и расплачивается! Он всегда был сдержанным человеком, но в нем чувствовался скрытый огонь, который прорывался наружу в музыке – и в постели. Теперь не было ни того ни другого. Она погнала его к врачу – но врач сказал, все в порядке, нормальные возрастные изменения. И на том спасибо.

Денег не хватало, старые запасы таяли. Аркаше действительно дали стипендию – но жилье, питание, транспорт! А если ураган, болезнь, мало ли что?

Лилия пошла к Питеру просить больше часов. Тот удивился, зная ее разборчивость, но пожал плечами и стал направлять к ней новых учеников – но каких! Капризных, ленивых –

и тупых, тупых, тупых! Если с линейки на междулинейку, втолковывала она, то следующая нота, а с линейки на линейку – через одну. Понятно? Да. Через неделю все сначала.

В конце концов она плюнула и стала писать им ноты буквами. Американцев, поняла она, совершенно не колышет, каким образом их чадо выучило песенку, лишь бы в конце года оно, нарядное и снимаемое дорогушей камерой, село за рояль и пару раз тренькнуло по клавишам – бедная Мари, бедный, бедный Миша!

Но когда она, отупевшая, приходила домой, где он сидел в халате и слушал концерты Моцарта, жалость испарялась.

– Хоть бы посуду помыл! – кричала она.

Он тут же поднимался и покладисто шел мыть посуду, а она уходила в спальню, наплевав на ужин и сердясь на себя, потому что не могла же она сказать ему, что дело вовсе не в посуде, а в Моцарте. Его концерты слишком безмятежны, за них можно ухватиться, как за воздушный шарик, и улететь от счетов, налоговых деклараций и починки машин, уплыть, оставив ее одну поддерживать огонь. Миша приходил, потягивался, целовал ее в щечку и мирно засыпал, а она лежала без сна и кипела: она не подряжалась жить со стариком! Ну, может и подряжалась – но не так же скоро!

Она уже стала подумывать, не купить ли *себе* маленькую квартирку, а он пусть слушает Моцарта где хочет – но тут он медленно, очень медленно стал приходить в себя.

Однажды Лиля учила с частницей – она брала теперь и частников – «Неаполитанскую песенку». Первую часть девочка играла довольно бойко, а во второй начинала буксовать, теряла темп, и Лиля не знала, как ей помочь. Идущий из спальни в кухню Миша на секунду затормозил и сказал:

– Здесь нужна другая аппликатура.

Он сделал пальцами веерообразное движение. Боясь дышать, Лиля прикрыла рукой руку ученицы, и та остановилась.

– Покажи, – потребовала Лиля.

Он подошел и, не садясь, несколько раз сыграл повторяющиеся ноты пальцами по порядку: четвертый-третий-второй-первый. Звуки запрыгали легко, как пущенный по воде камешек. Ученица попробовала – получилось!

– Ну вот, – сказал Миша, уходя.

Позже, в спальне, он вдруг сказал:

– А хочешь, я «Детский Альбом» сыграю? Ты стихи считаешь. «Пляшет кошка, пляшет кот, пляшет Жучка у ворот». * А?

– Ну, конечно, – сказала она, и он обрадовался, как ребенок, как будто это она вот уже восемь месяцев запрещала ему прикасаться к роялю.

– Завтра начну учить. Спокойной ночи.

Он уже привычно поцеловал ее в щеку, отвернулся и вскоре засопел, а она тихо лежала и плакала от радости.

Он сыграл «Детский Альбом»* и «Детский Уголок»*. Лиля привела своих детей, Айрин и Нуо своих. Дети больше интересовались чипсами и печеньем, до поры до времени накрытыми прозрачной пленкой, но слушали хорошо. Миша остался доволен и сразу стал планировать следующую программу. А потом, после почти годичного перерыва, встал очень рано, чтобы не упустить утреннюю прохладу, вышел пробежаться, вернулся домой и умер.

С медицинской точки зрения это было, наверное, логично – резко перегрузил сердце.

– Но ты, – грозила Лиля кулаками пустому потолку, – где *твоя* логика!

Вернуть отца, и мужа, и сына, и тут же – о боже, свекровь, что она скажет свекрови!

Впрочем, все это было позже, а в то утро, когда Лиля выползла, зевая, из спальни и нашла Мишу на диване, в спортивных трусах и футболке, с головой набок и безвольно свисающими

руками, она почему-то все поняла мгновенно, завывала, заметалась, схватилась за телефон, одновременно трясушимися руками запихивая в приоткрытый рот целую пригоршню аспирина – но часть ее отстраненно наблюдала за всеми этими манипуляциями с каким-то еврейским фатализмом. Она ждала этого с тех пор, как пылесосила книги.

Скорая – двое ребят и скуластая девочка – приехала через семь минут, но за эти семь минут Лиля забыла английский. То есть, понимала, о чем ее спрашивают, но ответить могла бы только по-русски, поэтому просто молчала. Они разобрались: ребята сразу направились в комнату, а скуластая ловко оттеснила Лилю в кухню и заговорила было по-испански, но поскольку Лиля все так же молча пялилась на нее, вернулась к английскому и завела какой-то неуместный разговор:

– Как сегодня жарко, а в вашей стране тоже так жарко?

– Да, летом жарко, – сказала Лиля и удивилась: вспомнила!

– А в Сан-Франциско, – продолжала скуластая, неторопливо раскладывая бумаги, – летом прохладно.

Я прошлым летом ездила к друзьям, а у вас есть друзья?

– Наверно, – неуверенно ответила Лиля.

– А не помнители вы чей-нибудь номер телефона?

Лиля напряглась и вспомнила телефон Айрин.

– Очень хорошо, – похвалила скуластая и на секунду вышла.

– А номер мужниной карточки социального страхования случайно не помните? – спросила она, вернувшись.

Лиля продиктовала.

– Отлично, а дети у вас есть?

– Сын, – сказала Лиля.

– А сколько лет? – настойчиво продолжала разговор скуластая.

– Девятнадцать, – сказала Лиля.

– Быть не может, – сказала скуластая, – вы сами выглядите на девятнадцать.

Тут Лиля боковым зрением увидела, что Мишу вывозят на каталке, и бросилась было туда, но смерчем ворвалась Айрин, прижала Лилю к мягкой груди и не отпускала, пока не увезли Мишу, пока совсем не стемнело, пока Лиля не собрала с силами позвонить Аркаше и сказать страшные слова: «Папа умер».

Лиля дала Айрин завесить зеркала, от шивы отказалась, но на раввину согласилась: пусть. Потом в комнате с темной мебелью агент, похожий на раскормленного пингвина, показывал каталог, журчал о прочности и долговечности. Лиля ткнула пальцем в первую попавшуюся картинку, пингвин воскликнул:

– Отличный выбор! – и защелкал калькулятором.

Лиля тупо тарасилась на икебану из сухоцветов. Если сухоцветы к несчастью, то здесь им самое место.

– Восемнадцать тысяч, – объявил пингвин.

– Сколько? – выкрикнула Лиля, выходя из ступора.

– Так, – вмешалась Айрин, – начинаем все сначала: сколько кремация?

Люди шли и шли, сотрудники, студенты, студенты, студенты, каждого обнять, поблагодарить, она устала до костей. Гроб обрастал цветами.

Айрин сказала, что открывать нельзя, и цветов, вообще-то, нельзя, ну да ладно.

Сама она стояла у входа, протягивала мужчинам ермолки, а женщинам кружевные нашьепки, все покорно брали и прикалывали невидимкой.

Пришли сотрудники, все до одного, Нуо даже с мужем и двумя мальчиками. Все четверо, резко выделяясь белыми рубашками, протопали по ковру в одних носках и дружно поклонились.

лись. Старший мальчик протянул Лиле конверт – позже она обнаружила там двести один доллар, две сотни и один. За шестнадцать лет она не сказала с Нуо и трех слов.

Аркаша, похудевший, похожий на угрюмого ворона, сидел неподвижно как изваяние, сцепив на коленях сильные отцовские пальцы, и люди как-то не решались подходить, только школьные друзья хлопали его по плечу и молча садились рядом.

Рэбэ, как называла раввина Айрин, с румяным мальчишеским лицом и какой-то приклеенной бородкой, начал с шепелявого бормотания, периодически по его сигналу все вставали и садились. Потом пошли речи: человек, педагог, не забудем.

Рэбэ благосклонно кивал, а Лиля читала и читала у него за спиной: «The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters»*. Там было и дальше, но она все время забывала начало и возвращалась.

Вдруг речи закончились, и рэбэ обратился прямо к ней – по-русски:

– Мне вспомнился «Костер» Макаревича – знаете?

Лиля остолбенела, зато неожиданно встрепенулся Аркаша.

– А ты был не прав, – не дождавшись ответа, процитировал рэбэ, – ты всё спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей. Я думаю, это про Вашего мужа.

Какие добрые глаза у этого мальчика, и откуда он знает все про Мишу? Спазм в горле отпустил, и она заплакала, обнимая сына и бормоча всем вокруг: thank you, thank you, thank you.

Лиля вышла на работу почти сразу – да и что было сидеть? Везде было одинаково тошно, а денежный вопрос встал немедленно и остро. Больше всего ее волновал Аркаша: прошел уже месяц, а он все слоняется по дому в отцовском халате и даже не прикасается к роялю. Мысль, что он потеряет стипендию, пугала ее до судорог. Она стала осторожно намекать, что пора бы ехать, но Аркаша оборвал довольно резко:

– Я сам знаю, что мне делать.

Она отступила, с четким ощущением, что он считает ее в чем-то виноватой. Он пугал ее, его отрешенный и в то же время сосредоточенный вид пугал ее. Горе не сблизило, а разобщило их, и это было больше всего.

Совершенно неожиданно помог Скотт. Однажды вечером он услужливо привез какие-то забытые Лилей ноты и, увидев в гостиной равнодушно щелкающего каналами Аркашу, бросился к нему с мясистой ладонью наперевес.

Аркаша поспешно вскочил и вытянул узкую руку, которую Скотт с силой затряс, приговаривая:

– Dude, that's tough,* – и вдруг зарыдал в голос, утирая слезы волосатым кулаком и неразборчиво повторяя: «dude» и «tough».

Аркаша с полминуты молча смотрел на этого внезапно материализовавшегося толстенького, бритоголового Коровьева, потом повернулся к Лиле и сказал:

– Мам, собери чемодан, я завтра поеду.

После его отъезда стало легче; по крайней мере, Лиля не чувствовала себя такой стесненной. Они перезванивались часто, почти каждый день, он вроде приходил в себя, шутил – но что-то, связывавшее их, исчезло. Миша, связывавший их, исчез.

Она погрузилась в совершенно неожиданные проблемы: например, как научиться готовить для себя одной? Каждое утро, задумавшись, она наливала кастрюльку воды и бросала шесть ложек овса, а потом ошарашенно тарасилась на оставшуюся порцию, не зная, что с ней делать. Миша не признавал вчерашнюю кашу, она всегда готовила свежую – и теперь не могла заставить себя выбросить такую вкуснятину. Она складывала ее в мешочек и заталкивала в морозилку – а в конце недели виновато выносила на помойку семь замороженных трупиков.

Та же история происходила с супом.

– Суп, – говорил он, – это завог здорового пищеварения.

И Лиля покорно ела и вталкивала Аркаше, который, как любой подросток, признавал едой только пиццу – но теперь ей становилось ясно, что суп она, в сущности, ненавидит, а еще больше ненавидит выливать целые кастрюли в унитаз. Мало-помалу она вообще перестала готовить.

Она казалась себе маленькой, почти несуществующей. Ее белье едва покрывало доньшко стиральной машины. Посудомойку она перестала включать совсем. И что делать со всеми этими вечерними платьями, с пятьюдесятью складными стульями, с Мишиными вещами, что ей делать со всем этим пустым пространством?

– Продать, – твердо сказала Айрин. – Продать, и купить маленькую квартиру, а вещи сдать в секонд-хенд. Я так сделала.

– Ты что, – испугалась Лиля, – отдать Мишины вещи чужим? А рояль – Аркаше нужен рояль!

– Ну и что, – сказала Айрин, – рояль и в квартиру войдет.

Лиля оказалась не готова расстаться с Мишиным домом; она только работала все больше, а приходя домой, стоя жевала кусок сыра и падала в постель – но тут начинались сны. Одни и те же – она или тонула в ледяной воде, или, подобно Каю, выкладывала из осколков заветное слово, и все не получалось, все не хватало осколков, и она не знала где их взять, и каменела от холода.

Эх, сейчас бы Аньку сюда, они бы вместе надрались в лоскуты. Лиля никогда раньше не надиралась в лоскуты, но сейчас было самое время. Но Аньки нет, никого нет. Всю жизнь она виляла вокруг Миши, как бабочка вокруг фонаря, а теперь никого нет.

Хотя неправда, есть Айрин.

В одно воскресное утро Айрин, вот уже несколько месяцев внимательно наблюдавшая за Лилей, без предупреждения явилась к ней домой и, чуть ли не силой затолкав в машину, повезла в собачий приют.

– Я не собираюсь брать собаку, – раздраженно сказала Лиля, когда поняла, куда ее привезли.

– И не надо, – беспечно откликнулась Айрин, – мы просто посмотрим.

Первым делом Лиля бросилась к щенкам, целому выводку толстеньких, похожих на медвежат, овчарят. Ее внимание привлек самый крупный, он так целеустремленно карабкался куда-то по головам. Она оглянулась – Айрин улыбалась.

– Э, нет, – погрозила ей Лиля, – и не мечтай.

Айрин засмеялась и что-то сказала, но вокруг стоял оглушительный лай, и Лиля не слышала.

Тогда Айрин взяла ее под локоть и повела вдоль клеток. Ходили долго, у Лили разболелась голова, и собаки слились в один шумный, неопрятный шерстяной ком.

– Сколько можно, – ворчала она, она же уже выбрала Целеустремленного.

Но тут Айрин остановилась перед крупной сукой с висячими ушами и отдаленно боксерским носом. Псина лежала тихо, положив голову на лапу, и наблюдала за ними то одним, то другим глазом, смешно морща лоб и изгибая домиком надбровные дуги. Короткий рыжий мех блестел здоровым блеском.

– Со щенком много возни, – прокричала в ухо Айрин, – а эта явно тренированная.

Подошедший волонтер подтвердил: да, тренированная, и молодая, года два, не больше.

– Беру, – твердо сказала Лиля.

Выпущенная из клетки собака, которую Лиля тут же, не мудрствуя лукаво, окрестила Рыжиком, не стала прыгать и лизаться, а спокойно пошла рядом, шаг в шаг, до офиса, где терпеливо лежала в уголке, пока Лиля оформляла документы, потом до машины, где так же

терпеливо ждала, пока ей откроют заднюю дверь и, наконец, до дома, где аккуратно вылакала предложенную миску воды и легла на предложенное одеяло.

– И ты знаешь, – восторженно рассказывала Лиля Айрин, – мне кажется, ее никто и не учил, она просто такой родилась. Тапки не грызет, на диван без спросу не лазит – просто чудо, а не собака, аж не по себе.

– Ну, мазал тов, – сказала Айрин.

Дом снова стал выглядеть жилым. Кухня быстро обросла пакетами с сухим кормом, ванная – шампунями, щетками и противоблошиными средствами. Повсюду валялись резиновые пищалки, тряпичные зайцы и кости для отбеливания зубов. Если случалась гроза, Рыжик спасала все эти сокровища под новой мягкой подушкой с кедровым наполнителем, а сама жалась к Лиле. Лиле обнимала дрожащее тельце, чувствуя под рукой перепуганное сердечко, шептала в шелковые ушки:

– Я с тобой, моя девочка, я с тобой.

В ней скопилось столько неистраченной нежности.

Приехавший на каникулы Аркаша обрадовался новому члену семьи.

– И кто только тебя надумил? – удивился он, трепля собаку за уши и заглядывая в преданные глаза.

– Айрин, – вздохнула Лиля.

Ей было стыдно, что тогда, восемь лет назад, она не сумела предложить Айрин ничего большего, чем формальное соболезнование. Просто в упор ее не видела, как и всех остальных. Это Миша заразил ее снобизмом. Хотя это не снобизм, а скорее... русизм. Она засмеялась и покачала головой в ответ на Аркашин вопросительный взгляд.

Когда он занимался, Рыжик ложилась рядом, клала голову на лапу и слушала.

– Ваши аплодисменты, – требовал он после особо трудного пассажа, и она несколько раз ударяла по полу хвостом.

Иногда он совершенно по-мальчишески падал перед ней на четвереньки с какой-нибудь старой тряпкой в зубах, и они принимались возиться, перетягивая тряпку и весело рыча, а Лиля снова благословляла Айрин.

Аркаша поправился, возмужал и часто презванивался с какой-то Полиной. Играл он более блестяще, но менее вдумчиво, точно, как Миша предрекал. Говорил почти все время по-английски – значит, и эту битву Миша проиграл. Но не воспитывать же взрослого мужика – к тому же, у нее есть более серьезная проблема. Она долго выбирала момент и выбрала, как всегда, самый неудачный: он стоял на стремянке и проверял ураганные жалюзи.

– Аркаш, – сказала она, послушно стоя внизу с отверткой в руке, – мы должны позвонить бабушке – другой бабушке, папиной маме.

Услышав о Мише, свекровь так долго молчала, что Лиля испуганно позвала:

– Виолетта Львовна, Вы тут?

– Я хочу поговорить с Аркашей, – ровным голосом сказала свекровь, – когда я могу поговорить с Аркашей?

Лиля пообещала, испытывая сильнейшее *deja vu*.

– Мать, – перебил он, в последнее время он стал называть ее «мать», – следи, что я делаю.

Он взял из ее рук отвертку и стал закручивать какой-то болт. Хозяин.

– Я не знаю никакой другой бабушки, – сказал он.

– Я знаю, – сказала она, – то есть я знаю, что ты не знаешь. Но она тебя знает, вернее, знала маленьким. Давно. Понимаешь...

Она замолчала, лихорадочно соображая, что из этой истории следовало рассказать Аркаше. Чертова бабка, ну почему она всю жизнь должна расхлебывать ее кашу!

– Понимаешь, – снова начала она, – они поссорились...

Она опять замолчала. Аркаша некоторое время смотрел на нее сверху вниз, ожидая продолжения, потом пожал плечами:

– Whatever, – и вернулся к болту.

И что это значило? Он не хочет знать, ему безразлично? Там, в Кливленде, каждый второй по полвека не разговаривает с родителями?

Как бы то ни было, он согласился, это главное. Чудес ждать не стоило, но согласился.

Свекровь оказалась на высоте. Лиля на всякий случай включила громкую связь, но ее вмешательство не понадобилось, и она молча слушала, как они смеются, обмениваясь консерваторскими байками, слепая старуха, недавно потерявшая сына, который не разговаривал с ней пятьдесят лет, и едва знакомый ей внук.

– Прикольная бабка, – сказал Аркаша.

Лиля, не найдя адекватного ответа, промолчала.

Не успела она его проводить, как позвонил Скотт и стал что-то возбужденно рассказывать, часто повторяя «Джек» и «Мари», но сколько Лиля не силилась, смысла она уловить не могла.

– Я приеду, – сказала она, вздохнув: оставалась еще неделя каникул, и на работу совершенно не хотелось.

Картину она застала странную: за конторкой бледный Питер перекладывал с места на место какие-то папки, за «родительским» столом, постукивая кулаком о кулак, сидел хмурый Хуан, а Скотт колом катался по студии, издавая невнятные возгласы.

– Что случилось? – шепотом спросила она Хуана.

– Джек и Мари ушли, – сказал он, не переставая стучать кулаками.

– Сорок лет! – вскричал Скотт, останавливаясь и нацелив ей в грудь короткий палец, – а табачок врозь!

– И забрали всех учеников, – монотонно продолжал Хуан. – Пятьдесят восемь человек.

Лиля поражено прикинула: как такое даже возможно? Ну да, шесть дней в неделю по пять часов, да умножить на два. Хотя в прошлом году у Мари меньше часов было, Питер же ей, Лиле, новых отдавал. Обиделись.

– Из-за меня, да? – виновато спросила она Питера.

– Не знаю, – хрипло ответил он.

– Но мы же наберем новых? – спросила она.

– Не столько.

Дрожащими руками он все перекладывал и перекладывал папки.

Он банкрот, мгновенно поняла она. Панически пронеслось в уме: дом, Аркаша, Рыжик – и уже никуда не устроишься!

– Так, – сказала она себе и им, – спокойно.

Все трое уставились на нее, и она чувствовала себя крайне неловко. Питер был человеком замкнутым, закоренелым холостяком, из года в год приносившим из дому салат в пластиковой коробочке и чай в помятом термосе, бизнес вел по старинке, в толстых бухгалтерских книгах, и ни у кого не спрашивал советов. Предполагали, что, учитывая его патологическую жадность, он за тридцать с лишним лет существования школы отложил кругленькую сумму – но точно никто не знал, да и не их дело: платит исправно, ученики есть, и хорошо.

Но теперь все было совсем не хорошо – и Айрин, как назло, нет в городе!

– Скотт, – сказала Лиля, стараясь придать голосу уверенность, – отвези Питера домой. И возвращайся.

К ее удивлению, все зашевелились: Скотт и Хуан помогли Питеру сложить папки и, поддерживая с двух сторон, повели к двери.

«А ведь ему, наверное, лет восемьдесят, – подумала Лиля – на кой черт ему все это нужно?»

Она открыла одну из папок, там оказалось досье на ученика: имя, возраст, контактные телефоны, инструмент. Она насчитала около двухсот папок. Значит, он зарабатывал – она прикинула расходы – да ничего он не зарабатывал, последние года три набор был совсем плохоньким. Получается, он держал школу из-за них. Чтобы не лишать их зарплаты.

– Неси свой ноутбук, – сказала она вернувшемуся Хуану, – будем делать сайт.

Хуан быстро нашел подходящий шаблон, в приятных нейтральных тонах, и стал одну за другой создавать страницы: о студии; контакты; предлагаемые классы.

– Не забудь электронную регистрацию, – сказала Лиля.

– Угу, – отозвался он, быстро щелкая по клавишам.

– И электронную оплату.

– Я знаю.

– И аренду инструментов.

Он поднял голову:

– Хочешь делать сама?

Она примирительно подняла руки. Он поправил очки и опять защелкал по клавиатуре. Ей вдруг пришло в голову, что она все еще считает его мальчиком, хотя, по самым скромным подсчетам, ему теперь не меньше тридцати пяти. Чтобы не стоять над душой, села за родительский стол и стала составлять план. Собрать фотографии для фотогалереи. Создать нотный каталог. Отдраить, в конце концов, туалет.

– Надо бы рок бэнд предложить, – вдруг сказал Хуан, – мы со Скоттом могли бы замутить.

– Скотт вроде даже с маленькими не очень, – осторожно сказала она, – а уж с подростками.

Он посмотрел на нее удивленно, потом покопался в ноутбуке и поманил ее пальцем. Она подошла: фото изображало скачущего перед микрофоном молодого Спрингстина – а рядом, такого же тощего и патлатого, в такой же джинсовой жилетке... Скотта!

– Женился, – усмехнулся Хуан в ответ на ее вопросительный взгляд.

– А, это бывает, – кивнула она.

Вот тебе и дурачок.

– А у тебя какие секреты в рукаве? – спросила она.

– У меня никаких, – улыбнулся он, – весь как на ладони.

Добавили рок бэнд. Вернувшийся Скотт завопил «Yeah!», был нагружен рекламными листовками и отправлен по близлежащим районам. Хуан и Лиля также взяли по пачке, а самую толстую приготовили для Нуо: вокруг нее жило много китайчат.

– Не бойтесь, – сказала Лиля, – прорвемся.

К началу сентября на сайте можно было прочесть биографии педагогов, посмотреть фотографии и видео, забить подходящее время в расписании, купить ноты, арендовать инструменты и сделать еще массу полезных вещей.

Лиля уговорила Питера утроить расходы на рекламу. Он, впрочем, не особенно сопротивлялся, только вздыхал, и видно было, что все эти новшества ему не по душе – но новшества работали, с этим он поспорить не мог.

К ноябрю набрали девяносто человек и всем коллективом пошли в итальянский ресторанчик праздновать День Благодарения.

Было шумно и весело. Все подвыпили и хохотали, вспоминая «субботник»: Скотт, менявший люминесцентные лампы, вдруг совершенно по-девчачьи взвизгнул и пулей слетел со стремянки. Прибежали все: мывшая окна Айрин, и драившая туалет Нуо, и Лиля с Питером, диктовавшие Хуану коды для нотного каталога. Хуан влез на стремянку и обнаружил притаившегося

за балкой перепуганного енотика. Зверька благополучно сняли и выпустили, а над Скоттом смеются с тех пор.

В самый разгар веселья Питер встал с бокалом в руке. Все притихли.

– В День Благодарения положено благодарить, – начал он, – и я благодарен всем вам. Вы мое сокровище.

Он стал сердито вытирать салфеткой бегущие из-под очков слезы.

Все, пораженные этим непривычным зрелищем, зашумели, замахали руками: да чего там, свои люди. Но он отмахнулся:

– Только сам-то я больше никуда не гожусь.

Все опять протестующе загалдели: да перестань, какие твои годы.

– Come on, – сказал он, – я же не слепой. Мне не угнаться за этими вашими...

Он неопределенно повертел в воздухе рукой, потом надул щеки и постоял несколько секунд, глядя на объеденный скелет индейки.

– Короче, – выдохнув, решительно закончил он, – забирайте студию. Расширяйтесь. Можете – платите мне процент, нет – на пенсию проживу.

Его бородавчатое лицо выражало явное облегчение. Все переглядывались.

– Типа кооп? – нерешительно сказал Хуан.

– Yeah! – сказал Скотт.

– Я бухгалтерию знаю, – неожиданно сказала Нуо.

А что, подумала Лиля. Найти духовика, еще одну пианистку. Начать с двух отделений, классики и рока. Связаться с Гудвином, вроде Академия присылает экзаменаторов, а экзамены у нее дома можно проводить. А там и снять большее помещение, добавить теорию, композицию, джаз, музыкальный театр, да мало ли что? И по конкурсу принимать, только по конкурсу, чтоб бездарей и духу не было!

– Лиля? – поторопила ее Айрин.

Все напряженно смотрели на нее.

– Хорошо, – сказала она, – только сначала мы с Аркашей должны съездить в Россию. И в Лондон. Ну-ка, кто возьмет на пару недель мою собаку?

Примечания

* Гете, «Прометей»

*Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим (псалом 22)

*Стихи Лунина к Детскому Альбому Чайковского

* Чайковский и Дебюсси

* Мужик, это жость

Евгения Кордова. Усекновение

1

Никита позвонил неожиданно и по обыкновению не вовремя. Это свойство его сногшибательное сваливаться, как снег на голову, да что там снег – лавина, и сам он – одно сногшибание и ничего кроме. И стал мямлить в трубку, что одиннадцатое у него число магическое, а потому продать или подарить картины он может только сегодня, и тогда это хорошо, а ещё афигенно правильно и дальновидно, и благоразумно чрезвычайно, потому что от этого ему... да и всем, и невозможно чтобы, и как же иначе, и всё в таком роде и таким макаром.

Куда уж афигеннее? Уж полночь близится, члены вялые, глаза слипаются. И Анна после двух суток дежурства вся в предвкушении выходных расслабленная, почти аморфная, жаждущая лишь тёплого пледа с книжкой и не способная даже к мало-мальской обороне. А этот продолжал нудить, что до конца одиннадцатого ещё целых сорок минут, и мы успеем, и это будет не выразить словами как, и у него уже всё собрано, и он буквально через, и прервать его косноязычную, но непрерывно-монотонную речь не было никакой возможности – слова обволакивали ватным коконом, в котором глохли все вялые возражения.

Глеб, которому назавтра предстояло уйти раньше обычного, невольно прислушиваясь к её слабым оборонительным репликам, начал что-то такое подозревать и натянулся струной.

И то верно: Анна в полной боевой готовности, собранная и деловитая, быстро принимающая решения и умеющая не только отражать, но и наносить —хлёсткие и точные, осталась там, в тех сутках. А здешняя, в вечернем уюте и расслабухе обмякшая и рассупоненная, быстро сдалась:

– Ну, хорошо, приходи.

Лицо Глеба поехало на сторону и неприязненно исказилось.

Чёрт! Наспех собрав в комок рассыпавшуюся волю и в кулак её с силой зажав, она добавила сердито:

– Имей в виду, у тебя пять минут – мы все устали и хотим спать.

Но на той стороне уже щёлкнуло.

Господи, о чём это я? Счастье, если удастся вытолкать его через полчаса. Пятнадцать минут! – сказала сама себе твёрдо, потом – пинками. Однако чувство совершённой ошибки, глупой и непоправимой, уже поселилось внутри и принялось разбухать, как созревающее дрожжевое тесто.

Конечно же он опоздал! Глеб с ежеминутно возрастающим раздражением прожигал взглядом телевизор, где дрались ожесточённо и палили непрерывно без причинения видимого вреда друг другу, и подчёркнуто избегал её виноватого взгляда; она слонялась из угла в угол и шумно, по-собачьи, вздыхала.

Когда полночный бой курантов готовился тяжёлыми ударами пасть, а напряжённое молчание – разразиться, он появился. В неизменных летних кроссовках-развалюхах поверх серых шерстяных носков грубой вязки – бабушка связала, сказал как-то, и у Анны потеплело в груди: господи, есть бабушка, которая о нём заботится; долгополом, архаического покроя, «ратинвовом» пальто – дедушкином как выяснилось впоследствии; и в синей повязке на голове – мамин подарок – стягивавшей выцветшие пряди его длинных беспорядочных волос. С толстым рулоном под мышкой в мятой обёрточной бумаге, перевязанным сикось-накось растрёпанными кусками бечёвки.

Весь припорошенный снегом, он улыбнулся открыто и бесхитростно прямо в её недовольное лицо. И тут же признался, что по дороге зашёл на горку прокатиться. Анна бросила быстрый взгляд на мужа, тот закатил глаза.

Разновеликие листы ватмана веерно заскользили по дивану. Перехватив их в стремительном сползании на пол, она прислонила листы к покато́й спинке. И застыла в смятении.

Линии. Много параллельных линий, толстых и тонких, свивающихся в спирали, лабиринты и воронки. Ну и дела. Что же это такое? Тревожность? Да нет, больше, чем тревожность. Так, стоп.

Глеб, принявший было вид матёрого знатока с вальяжными повадками, этакого зубра от живописи, переводил обескураженный взор с одного листа на другой и помалу входил в состояние транса и линьки. Прожённо-напускная экспертность рваными клоками сползала с его лица, как лопнувшая шелуха.

Машинально протянув руку, Анна взяла один из рисунков и стала рассматривать его, поворачивая разными сторонами.

– Что вы делаете?! – возмутился Никита и мелко захлопал своими мохнатыми ресницами.

– Что «что»? – переспросила она, слегка озадаченная его распетушившимся голосом: на её памяти он вообще никогда не сердился.

– Вы же утверждали, что вам нравятся мои картины!

– Нравятся, – и всё силилась понять, что его могло так задеть, почему у него такой смешной взъерошено-ощетинившийся вид.

– Да вы же смотрите – не с той! стороны! И держите – не! правильно!

Ах, вот оно что.

– С чего ты взял? – спросила провокативно. – А может, этот ракурс мне нравился больше всего.

И тут Никита сделал неприятное открытие:

– Да вы же ничего в них не понимаете!

– Аб-со-лют-но, – с озорным вызовом помотала она головой. – А я что-то должна понимать? Это высшая математика? Скажи, а ты на каждой выставке будешь объяснять, что нарисовал? Прямо вот так стоять возле картины – желательно всех сразу – и любопытствующим, группово и индивидуально? – она заглянула в его расстроенное лицо и добавила, усмехнувшись: – По большому счёту, картины либо будят отзвук, либо – нет.

И мельком взглянула на мужа – тот загнипнотизировано водил глазами по линиям.

– А что здесь нарисовано, понятия не имею. Здесь же ещё и написано что-то, вот, – прочертила ногтем невидимую линию.

Никита заморгал чаще, яростно зашипел и вырвал рисунок:

– Надпись! Не имеет! Значения!

– Ну как же? Зачем тогда?

– Ни-ка-ко-го! И смотреть нужно – вот так! – размашисто – она едва успела отпрянуть – повернул лист: строка с широко растянутыми иероглифоподобными буквами направилась снизу вверх, и все они (буквы) легли на бочок – вроде как отдохнуть.

– Да-а-а? А читать? – продолжала развлекаться Анна.

– А читать – не-нна-до! – прорычал он. – И если нравятся, значит – понимают!

– Отнюдь, – парировала она. – Я, например, нич-чё не понимаю. И мне – нравится.

– Как это?! – Никита смешался и враз сдулся, как лопнувший шарик. – Как это? – и стал поворачиваться и заглядывать искательно им в глаза.

– Да... так. Картины, музыка, стихи – их не понимают, чувствуют. Вот эта, например, о чём?

– Эта? Это Яна, стирающая детское бельё! Я разговаривал с ней в это время по телефону. А она стирала бельё.

– ??? Ааа... Ммм... Угу. Ну тогда... Мда, – она потёрла висок.

Глеб заглянул ей через плечо и воззрился на Яну. В тщетных попытках её идентифицировать. Они переглянулись.

– Нет, ну вы посмотрите, – Никита оживился – вот же таз с бельём, – он широко мазнул ладошкой по правому нижнему углу – действительно, таз. – А вот рука! (и правда, рука). Здесь даже пуговица есть! – негодуя ткнул пальцем в середину листа, где имело место быть.

Это плоское и круглое, с двумя симметричными чёрными горошками, в равной степени пуговица и пороссячий пяточок в анфас, Анну доконало.

Она расхохоталась и сказала:

– А-бал-деть!

И окликнула – целеустремлённо, под шумок, пробирававшихся в эту самую минуту мимо них на кухню – дочь с очередным претендентом на её прохладное, ровно бьющееся сердце:

– Юлька, ты представляешь, это – Яна, стирающая детское бельё?

Дочь с претендентом на секунду замерли, осознавая, что манёвр не удался, и сменили вектор направления.

– Павел, – весомо представился молодой человек, сунув Глебу руку, тот неловко её принял и подержал двумя пальцами. И уставились на картину.

Потом Павел весело взглянул на Никиту и ещё раз – на картину. Хрюкнул и протянул жизнерадостно:

– Ништя-я-я-як! А ничё ты так вшторило. Чё куришь?

Юлька хихикнула, Глеб холодно поднял бровь и прищурил глаз, Анна хмыкнула и посмотрела с любопытством.

– А? – отозвался Никита и беспомощно оглянулся на Анну.

– А бельё где? – не дал ему передохнуть Павел (Яну он, надо полагать, разглядел).

Не такой уж он и бедолага, подумала Анна, пожалуй. Кажется, Юльку ждут сюрпризы. Нас всех.

Никита промычал что-то тихо и неразборчиво и страшно обиделся. Он нервно зашлёпал своими белёсыми метёлками, улыбка стала ещё шире и растерянной, в глазах появилась оголённая мука незаслуженно наказанного ребёнка.

А все уже сгрудились возле дивана и, перебивая и отпихивая друг друга, приступили к перекрёстному допросу. И перекидывались взглядами, и перемигивались, и делали лица.

– А вот это?

– А здесь?

– Какое окно? Где окно? Ах, вот это – окно?! Хм... Вообще-то...

– Нога? А вторая? С какого перепугу? И что, что она сидит?

– Ну хорошо, ладно, это предплечье, хорошо, ладно, согласен, чёрт с ним, а кисть где? Почему здесь? Блин, это ж как надо вывернуться! А вторая? Аааа... ты так видишь? Угу.

И перетасовывали листы, исчёрканные изогнутыми параллельными линиями, разворачивая и подсовывая их автору так и эдак.

У Никиты наступил звездный час. Он вдохновенно объяснял и показывал, и расшифровывал, и разжёвывал, и... .. и проступали лица смутные и детали фигур неявные, предметы интерьера и пространства эскизные, приметы времени и сюжетные линии нечёткие.

– А это я, видите: у меня фенечка на запястье – помните, Ольга подарила? – и я ею размахиваю.

В картине была весна. Как он умудрился передать это двумя цветными карандашами и набором ветвистых линий – вот как?! – но это была весна. Как самое чистое, прозрачное, празднично-голубое и нежно-салатовое, струящееся жемчужным светом, искристым и подрагивающим, промытое, время года. Как невесомо-парящее и витающее в заоблачных эмпирях неуловимое состояние души. Как неотвратимо-томительное пробуждение чувства. Пер-

вого. Робкого. Искреннего. Беззащитного. Доверчивого. И ветерок легкий, тёплый, душистый. И взметнувшаяся узкая рука. И вздёрнутый острый подбородок. И развевающиеся – светлые – пряди волос.

– Никита, а как называется этот жанр, в котором ты сейчас работаешь?

– Нну... не знаю. Супрематизм какой-нибудь.

Нет, Малевичем тут и не пахло. Анна стала вспоминать, где и когда она могла видеть хоть что-то подобное. Нигде и никогда. Но ведь так не может быть? Или может?

Она отобрала несколько рисунков: – Вот эти. Сколько?

Он тут же скис, завил глаза, замигал, залился смущением, мучительно замялся и стал перетаптываться с ноги на ногу.

Фокус всех глаз, вопросительно обежав круги, сошёл на Глебе. Тот ответил взглядом отвергающе-возмущенным: а что я? я-то чего? – и пожал плечами:

– Я знаю?! Ну... тысяч шесть.

– Нет! – отрезал Никита, и все развернулись к нему изумлённо, а он с отчаянием, как в омут, по нисходящей, до шёпота:

– Пять или семь! Шесть не подходит, – и едва слышно, пряча взор, – это неправильное число.

О, госсподи, мысленно застонала Анна, и тут у него свои ритуальные танцы!

– Не, ты глянь на него! – Глеб фальшиво засмеялся: – коммерсант! – И отсчитал купюры: – На вот, держи.

Никита оторвал клоч обёрточной бумаги, коряво завернул деньги, перевязал огрызком бечевы. И решительно не знал, что делать дальше, крутил и вертел пакет в руках, смотрел на всех детскими глазами цвета прозрачной озёрной воды в пасмурный день, смаргивал и улыбался неловко и счастливо.

Он давно ушёл с сияющим лицом и с деньгами – это ж целое состояние! —засунутыми Анной ему в карман, одарённый двумя пакетами риса и гречки, которые прижимал к груди нежно и бережно, как крохотных любимых малышей.

Она проводила высокую ломанную фигуру, темнеющую одиноко и неприкаянно на синем снегу ночной улицы, долгим взглядом из окна и подавила вдох.

...а они всё вертели и крутили рисунки. И находили отдельные узнаваемые фрагменты, которые никак не желали укладываться в целое, и пытались догадаться и раскодировать, и безуспешно разбирали его низкие растянутые каракули.

– Я-то думал, это просто такие странные декоративные композиции, – бубнил себе под нос Глеб, – а это оказывается, наоборот, сюжеты. Нет, надо его ещё раз позвать, и пусть расскажет.

– И записать, подробно законспектировать, запротоколировать, и пусть поклянётся на Библии, и распишется кровью, и плюнет, и отпечатает подушечку большого пальца, – пробормотала Анна.

Глеб поднял глаза и посмотрел на неё внимательно.

– Так я останусь? – утвердительно спросил в этот момент Павел. – Метро закрыто, в такси не содут, – и осёкся, наткнувшись на серьёзные мужские глаза, замерцавшие льдисто.

И заторопился:

– Только вы не подумайте – у нас всё серьёзно. Нет, я на полу могу, если это принципиально.

Юлька густо запунцовела от чёлки до самого выреза майки. Анна пристально оглядела обоих. Вот оно что? Цитируем, значит. Шустёр. И не знала, нравится ей это или нет. Как же ты, девочка, будешь теперь выкручиваться?

Бросив беглый вороватый взгляд на отца, Юлька быстро протараторила:

– Так мы пойдем, мам? Спать очень хочется. Я постелю Паше на раскладушке. Спокойной ночи, папа.

– Спокойной ночи, – легко и доброжелательно произнес Павел.

– Спокойной ночи, – эхом откликнулась Анна. Вот, значит, как. Ну, что ж...

А Глеб... Он лишь смотрел вслед тяжёлым тягучим взглядом и не издал ни звука. Растерялся. Он не был готов. А кто был? Она? Анна с насмешливым сочувствием наблюдала за ним.

– Ну чего ты так распсиховался? Ты что, ничего не понял? Не видишь?

– Что я вижу?! – взорвался он. – Чтоб я сдох, если что-нибудь вижу! Чтоб я сдох, если что-нибудь понимаю! И в вашей мазне тоже! Вот за что я отдал семь тысяч?!

– Да что тут понимать? – тихо сказала она, вдруг почувствовав ужасную усталость. – Девочка выросла. У тебя только что практически попросили её руки, ну... – усмехнулась, – или не руки. Да, собственно, и не попросили.

– Так это было предложение?! Чтоб я сдох здесь раз и навсегда!!

– Возможно. Что не факт. Не стоит. Поживи ещё.

– В наше время, – он стал заводится, – да я этого хмыря сейчас!...

– Ну что ты сейчас, что? Мы были такие, они – другие. Наше время... а где оно, наше время? – она хмыкнула и глубоко вздохнула, – тью-тью. Наступает их время. И лучшее, что мы можем сделать – не мешать. Ладно. Спать пора, – и демонстративно, с хрустом потянулась.

– Ты, вообще, мать? Неет, – едко протянул он, – ты – мачеха!

– Ага. Кукушка. Ехидна просто. Спать пошли.

Анна лежала навзничь, не шевелясь, и смотрела в потолок, по которому сквозь неплотно задёрнутые шторы пробегали редкие полоски света от припозднившихся машин. Надо бы задёрнуть, а то всю ночь мельтешить будет. Но вставать было в лом. Глеб спал, уткнувшись носом ей в шею, как ребёнок, рвано всхрапывая при каждом вздохе. У него только что отобрали любимую и единственную дочь. Единственную и любимую. Пришли и взяли. Как своё.

Дети, наконец, угомонились. Они придушенно хихикали и возились за стенкой, шастали на цыпочках на кухню, оглушительно хлопали дверью холодильника, так же на цыпочках – в ванную, где у них каскадом что-то падало и рушилось, громким сердитым шёпотом призывали друг друга к тишине, после чего сдавленно ржали, и почему-то хрустально звенели бокалы.

Она думала.

Как-то теперь всё будет? Кто ты такой, Павел? Что ты такое? Не поторопилась ли ты, девочка моя? Почему-то у вас сейчас всё слишком просто. И вспоминала себя с Глебом, его долгие, безупречные ухаживания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.